

V. Этика

А. А. Гусейнов

Учение о житии Александра Зиновьева

Александр Александрович Зиновьев (1922 г.) получил всемирную известность прежде всего как логик, социолог, писатель, обозначивший своим творчеством новые вехи в каждой из этих областей человеческой культуры. В логике он переосмыслил сами ее основы таким образом, чтобы она могла служить потребностям эмпирических наук; он предложил теорию логического следования, исключающую парадоксы, и сделал фундаментальное открытие, согласно которому в науке не должно быть проблем, неразрешимых по вине логики. В социологии он впервые создал научную теорию коммунизма, понимая под ним общество советского образца, и западнизма, понимая под ним соотнесенную с коммунизмом и альтернативную ему линию эволюции, которая воплотилась в сверхгосударственно-глобалистских тенденциях развитых капиталистических стран, ставших наиболее очевидными после Второй мировой войны. В литературе он создал новый жанр социологического романа, что позволило освободить художественное познание человека от деформирующих оков морализма и придать ему точность, сопоставимую с точностью научных выводов.

Выдающийся вклад Зиновьева в названные выше области культуры признан и в прямой форме авторитетных суждений многих специалистов и, что может быть еще более показательно, в косвенной форме целенаправленного замалчивания со стороны официального истеблишмента. Зиновьев явил себя обществу также в качестве поэта и художника. Сам он, в целом лишенный того, что именуется ложной скромностью,

и стремящийся в оценках самого себя быть столь же беспощадным и искренним, как и в суждениях о других людях и обстоятельствах, не склонен придавать какое-то особое значение своим достижениям в этих областях деятельности. Исследователи его творчества в данном отношении также сдержанны. Как бы то ни было, однако и поэзия, и изобразительное искусство вычленены в качестве самостоятельных аспектов того, что именуется феноменом Зиновьева. Наряду с этим есть еще одна исключительно важная (возможно, даже самая важная) область его творчества, которая осталась в тени, хотя она составляет пафос всего его литературно-социологического творчества — от «Зияющих высот» (1976) до »Русской трагедии« (2002). Ее можно обозначить как этику или, если иметь в виду новейшие тенденции развития этической теории и практики, как прикладную этику. Сам он называет ее учением о житии, в другом варианте — зиновийгой.

Жизнеучение Александра Зиновьева изложено в поэме «Евангелие для Ивана» (1984), повестях «Иди на Голгофу» (1985), «Живи» (1988), поэме «Мой дом — моя чужбина» (1983), а также в автобиографическом сочинении «Исповедь отщепенца» (1989). В отличие от логики и социологии, которые суммированы — первая в сборнике «Очерки комплексной логики» (М.: Эдиториал УРСС, 2002), а вторая в монографии «На пути к сверхобществу» (М.: Центрполиграф, 2000), автор до настоящего времени не выразил свое этическое кредо в привычной для европейской интеллектуальной традиции форме систематически построенного текста. И еще вопрос — поддается ли оно вообще такому обобщению, ибо, как говорит сам Зиновьев устами воплощающего авторскую позицию литературного героя, его можно изучать, излагать и даже практиковать в любом порядке. Свое учение он характеризует как принципиально бессистемное, ибо оно «имеет целью не вырвать человека из его привычного образа жизни, а улучшить его жизнь в рамках выпавшего на его долю жизненного пути». Имея в виду эту особенность, я ограничусь его общей характеристикой и буду при этом опираться главным образом на повесть «Иди на Голгофу», которая в интересующем нас аспекте является основной, можно сказать, программной.

I

Среди множества необычных суждений Зиновьева, пожалуй, самым необычным является его утверждение о том, что он есть суверенное государство. И это — не фигулярное выражение, а установка, которой, как уверяет Зиновьев, он придерживался всю

жизнь. Когда французский король говорил: «Государство — это я», то это поддавалось рациональной интерпретации в том смысле, что все государство обслуживает короля, нацелено на него. В конце концов, речь шла о короле. А как понять обратное утверждение: «я — это государство», сделанное к тому же человеком, который не распоряжается ничем, кроме самого себя?! Тех, кто недоумевает по данному поводу, ждет еще более суровое умственное и моральное испытание, ибо выясняется, что Зиновьев — не только самостоятельное государство. Он — еще и Бог. Относительно последнего тезиса следует оговориться, что он корректен в той только мере, в какой автора можно отождествлять с литературным персонажем, являющимся основным и прямым носителем авторской идеи. Автор и его литературный герой — не одно и то же. Однако насколько ошибочно целиком приравнивать их друг другу, настолько же и даже еще более неверно полностью разводить между собой. И если герой не совпадает с автором, то часто в том смысле, что он — в большей мере автор, чем сам автор, ибо в его случае автор предстает не тем, кто он есть, а тем, кем он хотел бы быть и старается быть. Одна из особенностей Зиновьева-мыслителя состоит в том, что он более всего буквalen и серьезен как раз в тех утверждениях, которые на первый взгляд кажутся самыми невероятными, парадоксальными, шутливыми. Отождествление героем самого себя с Богом относится к именно к таким. Его внимательный анализ тем более важен, что проясняет действительный смысл жизненной формулы самого Зиновьева. Вообще степень соотнесенности автора с героем в случае учения о житии Зиновьева является особенно высокой, так как оно, о чем, в частности, мы узнаем из автобиографических свидетельств в «Исповеди отщепенца», было разработано Зиновьевым для самого себя и направляло его жизнь с такой полнотой, что последнюю можно считать экспериментом по отношению к этому учению.

Итак, главный герой повести «Иди на Голгофу», являющийся автором, носителем и проповедником учения о житии, считает себя Богом. В каком смысле? Что скрыто за этим предельным в своей дерзости утверждением?

Анализируя свою жизнь, Зиновьев выделяет следующий эпизод детства. Это случилось в 1929 г., когда он пошел в школу. Тогда регулярно проводился гигиенический осмотр детей, для чего надо было раздеваться догола. Узнав об этом, маленький Зиновьев снял нательный крестик и выбросил его. Его мать, глубоко религиозная женщина, не наказала его за это, но сказала ему следующее. Наступило время безбожия. Не надо ломать голову над тем, су-

ществует Бог или нет. Главное — жить так, как будто какое-то существо видит каждый твой поступок и читает каждую твою мысль. Оно оценивает их, одобряет все хорошее и осуждает все плохое. Зиновьев, как он признается, старался всю жизнь следовать этому наставлению матери. Также действует и герой его повести: «Для меня, — сказал я, — нет проблемы, существует Бог или нет. Верить в Бога и верить в существование Бога — не одно и то же. Я принимаю принцип: живи так, будто некое высшее существо наблюдает каждый твой шаг и помысл». Есть онтология знания. И есть онтология веры. Они принципиально различны. Онтология знания означает, что нечто реально существует. Мы можем знать только то, что на самом деле есть. Сперва бытие, потом знание. Онтология веры прямо противоположна: сперва вера, потом бытие. Вера сама создает реальность. В отличие от знания, которое вторично по отношению к реальности, она первична по отношению к ней. Герой Зиновьева говорит об этом так: «Вера не имеет никаких оснований вообще. Кто-то выдвинул формулу: верую, ибо это абсурдно! Он был близок к истине, но еще не был в самой истине. Я иду до конца. Я говорю: верую без всяких “ибо”». Быть Богом есть предельный случай веры. Это и есть вера в чистом виде. Человек может считать себя Богом в той мере, в какой он смотрит на себя глазами Бога. Он является им тогда, когда он живет и действует так, как если бы он был Богом.

Герой Зиновьева является Богом в качестве последовательного, законченного атеиста. Атеизм как безбожие еще не есть отсутствие Бога. Он означает лишь отрицание Бога. Тем самым Бог в какой-то форме допускается. «Если нет Бога, то нет и безбожников». Подобно тому, как вера в Бога, понимаемого в качестве отделенного от верующего существа, предполагает сомнение в его бытии и нуждается в помощи знаний (доказательств существования Бога), так атеизм, поскольку он является отрицанием Бога, имеет своей предпосылкой постулат о существовании Бога, допускает веру в него. Есть единственный случай, когда верующий человек является атеистом или, что одно и то же, атеист — верующим человеком: если он сам есть Бог. «Бог не может верить в свое бытие, ибо он не может относиться к себе, как к чему-то вне его самого». И в то же время он не может не верить в свое существование, поскольку он существует. Нет другого ответа на вопрос о том, как быть верующим без мракобесия, в качестве современного человека, т. е. человека научной эпохи, атеиста, или, как будущи атеистом и оставаясь им, стать верующим, кроме того единственного решения, когда человек, перед которым стал этот

вопрос, сам является Богом. Вот открытие, которое герой повести называет фундаментальным: «Он нужен именно потому, что Его нет и никакой загробной жизни не будет. Если бы Он был, Он был бы не нужен — вот основной парадокс бытия». Это говорится о Боге. Поистине: Зиновьев не для ленивого ума!

Герой, далее, о чем мы узнаем с первых же страниц повести, является Богом в силу бесконечного одиночества и абсолютной безнадежности, в силу обреченности на страдания. Когда человеку плохо, он оставлен всеми и ему не на что надеяться, он может обратиться к Богу. Это означает, что он еще не брошен полностью и не потерял все надежды. А к кому может обратиться Бог? Ему не к кому обратиться. Когда человек безысходно страдает, он может верить в то, что их облегчит Бог. А кто облегчит страдания самого Бога? Их облегчить некому. Это означает, что когда человек находится в положении полного одиночества, без каких бы то ни было надежд, когда никто и ничто не может избавить его от страданий, тогда он находится в таком положении, в котором может находиться только Бог. «Быть Богом — это значит идти на Голгофу».

Современный отечественный философ Э. Ю. Соловьев (один из немногих среди них, кто остался верен идеалам философского свободомыслия) высказался однажды так: «Если даже Бога нет, человек все равно не Бог». Зиновьев (по крайней мере в повести, о которой идет речь) рассуждает иначе: если Бога нет, то это еще не основание отказываться от идеи Бога. Как человеку остаться верным Богу в ситуации, когда он точно знает, что Бога нет? Тут нет другого пути, кроме как создать Бога, самому стать им. Предлагая такое решение, Зиновьев идет по пути, на котором у него были великие предшественники. Материалист Спиноза назвал субстанцию Богом. Фейербах, низвергший Бога с небес, создавал религию любви. Л. Н. Толстой, специальным определением Синода поставленный вне христианского православия, считал себя более истинным и последовательным христианином, чем его церковные хулители. Однако у Зиновьева есть одно существенное отличие. Прежние философы, которые не отказывались от идеи Бога, хотя и отвергали его богословскую версию, продолжали мыслить о нем онтологически. Зиновьев же подходит к идее Бога сугубо психологически и этически.

В психологическом плане осознание человеком себя в качестве Бога означает высшую ступень его личностного самоутверждения. Причем в двух смыслах. Во-первых, в том смысле, что он живет для себя. Речь идет не об эгоистической замкнутости индивида на своих интересах и выгодах, а о полном принятии им жизни

в тех ее конкретных проявлениях, которые выпали на его долю, таком отношении к жизни, как если бы он был ее единственным носителем. Существует известное кантовское сопоставление нравственного закона в нас и звездного неба над нами, в котором первый бесконечно возвышается над вторым. Нечто подобное говорит и герой Зиновьева, правда, своим, менее выспренним языком: «Плевать мне на Галактики, звезды и общества. Для меня моя жизнь важнее и интереснее, чем, например, эволюция некой звездной системы за тридевять земель». Во-вторых, в том смысле, что он сам является основой своей жизни. «Все дело в Вас самих» — говорит герой Зиновьева, перефразируя знаменитое изречение Иисуса Христа. Он в одном из своих необычных рассуждений под заглавием «Форма обращения к Богу» задумывается над тем, почему вообще надо обращаться к кому-то вне нас. Это, полагает он, связано с тем, что мы являемся продуктом европейско-христианской цивилизации, которая исходит из наличия в человеке некой субстанции «Я». Каждый из нас есть «Я» от рождения и в ряде поколений. Нам в отличие, например, от восточных людей, не надо сосредоточиваться на себе, чтобы породить, сформировать в себе некое «Я». «Оно в нас и без этого есть. Оно само прет из нас вовне. Нам нужны внешние опоры, дабы образумить свое внутреннее «Я». И современный, образованный, научно мыслящий европеец, понимающий, что Бога во вне не существует, должен в себе породить Бога как некую инстанцию, удерживающую его рвущееся наружу и ни с чем не считающееся «Я». Или, как пишет уже сам Зиновьев в «Исповеди отщепенца», характеризуя место Бога в зиновьёгоге, «одно из моих «Я» должно было стать моим собственным Богом со всеми его атрибутами». Вера человека в Бога связана с решением (это уже цитата из «Иди на Голгофу») «таких и только таких его проблем, решение которых зависит целиком и полностью от самого данного человека». Бог есть завершение человеческого «Я». Такое его завершение, при котором «Я» примиряется с миром и одновременно рассматривает себя в качестве его реформатора. Однажды, будучи на Кубе, я оказался в квартире служителя одного из африканских языческих культов. У него в прихожей стоял сервант, заполненный разными предметами (камнями, травами, палками и т. п.), среди которых было, между прочим, и изображение девы Марии. На мой вопрос, что это такое, хозяин кратко ответил: «Это — мои боги». Человек христианской культуры отличается от этого замечательного язычника тем, что у него один Бог вместо многих и находится он внутри, а не во вне.

Основная функция Бога по Зиновьеву — этическая, моральная. Быть Богом для него — не удача, и еще менее награда. Это скорее страдание и мука. Богом личность не кончается. С него она только начинается. Бог есть начало. Когда говорится: некто есть Бог, то это лишь означает, что он сам определяет программу своего существования и живет в мире, который сам же создал. ««Я» есть учение о житии», — говорит Зиновьев вместе со своим героем. Собственно говоря, человек может считаться Богом только в той мере, в какой у него есть свое учение о житии, есть своя религия. Вот как рассуждает герой повести, который живет по своей системе и пользуется в своем городе славой всесильного врачевателя человеческих тел и душ: «Если Бог, по определению, есть существо, создающее религию, то я, по определению самого понятия Бога, есть Бог. Какая примитивная логическая операция, и какой грандиозный вывод!». Этот силлогизм, кстати заметить, не очень отличается от того, как официальные служители христианских церквей обосновывают свое право на пастырскую деятельность. Последние связывают это право с тем, что они являются законными, через поколения восходящими прямо к Христу истолкователями и хранителями его учения. А если человек сам создал такое учение и сам его проповедует, то он выступает в том же качестве, в каком выступал Христос.

II

Учение о житии Зиновьева исходит из фундаментальной предпосылки, что мир, включая и человеческое общество, объективен. Он живет по своим законам. Улучшая его, можно ухудшить, а ухудшая — улучшить. Во всяком случае тот, кто собирается усовершенствовать его, должен быть готов к тому, что, как говорится в одном из стихотворений из «Зияющих высот», он к старым мерзостям добавит лишь свои собственные. Мир, в том числе и самого себя в качестве части мира, надо принимать как факт — как жесткий факт, с которым никто, в том числе и Бог, ничего поделать не может. Человек (и в этом проявляется его божественное начало) может изменить отношение к миру, в реальном мире и поверх него создать свой собственный. Бомжующий Бог Зиновьева из «Иди на Голгофу» сравнивает себя и свою миссию с тем, кем был и что делал Христос, считает себя соразмерным ему. Вот что мы читаем в главе под названием «Суть христианской революции»: «Именно это и делал Христос — он оставлял без внимания данный ему мир (он не нарушал законы его!), но изобретал такой новый разрез жизни в рамках этого мира, который означал максимально глубо-

кую революцию в образе жизни людей. Он изобретал новый мир для людей!.. Я тоже хочу повернуть мозги людей в ином направлении». В каком?

Прежде всего надо открыть в себе душу как некое шестое чувство. Она не поддается и не требует естественнонаучного объяснения. Тот, кто открыл ее в себе, знает, что это такое. Кто не открыл, тому рассказать о ней невозможно, как слепому нельзя объяснить, что собой представляют световые ощущения. Душа обнаруживается в поведении. Она совпадает со способностью различать добро и зло, делать добро и радоваться ему, препятствовать злу и печалиться ему. Душа — исток и пространство ценностного мира человека. Применительно к душе лишены смысла понятия смерти и бессмертия, которые относятся только к телу, хотя именно к одушевленному телу. Душа ориентирована на вечность. Она является пуповинной связью человека с вечностью — связью, которую цивилизация стремится обрубить.

Душа должна стать не просто центром забот человека, но единственной его заботой. И выражается это в том, как он относится ко всему тому, что не является душой. «Если мы не можем изменить обстоятельства, то мы можем изменить самих себя так, что обстоятельства потеряют смысл». Разъясняя, что это значит, герой апеллирует к Экклезиасту. Его знаменитое изречение «Суeta сует, все — суeta и томление духа» проходит рефреном через всю повесть. Правильное отношение к душе обнаруживается через деятельное признание того, что все остальное бренно, ничтожно, есть суeta. «Моя претензия быть Богом, — читаем в повести, — есть максимальное из всех возможных человеческих претензий. Она неизмеримо выше желания стать миллионером, знаменитостью, диктатором. Она предполагает всемогущество и всеобладание... Потому никакие страдания и потери не могут остановить меня, ибо они — ничто в сравнении с тем, что я потенциально имею в качестве Бога».

К распятому Иисусу Христу злорадная толпа обращалась с выкриками «Спаси себя, если ты Бог». То же самое говорили ему заистлиевые книжники. Ужасным парадоксом Ницше назвал «Бога на кресте». Все они смотрели на ситуацию глазами человека. Они не поняли, что Иисус смотрел на вещи иначе, что в разрезе его взгляда на мир жалости был достоин не он, страдающий вверху на кресте, а они, радующиеся внизу этому факту, что он, как удачно выразился тот же Ницше в другом месте, своей смертью доказывал истинность своего учения.

Перед человеком, говорит Зиновьев, открываются два пути: «Либо окунуться в борьбу за жизненные блага по законам дан-

ного общества, либо уклониться от этой борьбы». Его решение однозначно: уклониться. Но уклониться — не значит анахоретствовать, изолироваться, замкнуться в искусственно созданную среду, ограничить общение узким кругом «своих» и т. п. И даже не значит уйти в себя. Речь идет о совершенно особом роде уклонения, когда человек глубоко укоренен в общественном быте, погружен «целиком и полностью в трясину жизни», но при этом духовно находится в особом мире и руководствуется собственными критериями ценностей и оценок. Зиновьёга отвечает на вопрос о том, «как быть святым без отрыва от греховного производства». В отличие от тех, кто ставил задачу перейти из земного ада в небесный рай, и тех, кто хотел преобразовать земную жизнь из адской в райскую, здесь ад и рай соединены в один неразрывный клубок. Позиция Зиновьева состоит в следующем: никуда человек из земного мира с его муками бренного существования уйти не может, ибо никакого другого мира, кроме этого, не существует. Ничего с земным миром, полным мук и страданий бренного существования, он поделать не может, ибо мир этот таков, каков он есть; его не то что нельзя улучшить, его нельзя улучшить, не ухудшая, нельзя улучшить таким образом, чтобы в нем не было страданий, болезней, смертей, бедности, подлости, зависти, всех прочих несчастий и мерзостей. Поэтому, если человек вообще не хочет отказаться от мечты о райской жизни, от своих идеалов, он должен научиться жить райской жизнью, оставаясь в аду. Вот как об этом сказано в повести: «Допустим, — говорю я, — Царство Божие наступило. А дальше что? Как в этом Царстве Божием пребывать, то есть прожить по-человечески? Эта проблема потруднее той, какая стояла перед Христом». Такая постановка вопроса была порождена советской действительностью, которая прокламировала себя как воплощение вековых надежд человечества. Она, однако, сохраняет актуальность и в новых условиях российской демократии, которая хотя и не маркируется как земной рай, тем не менее считается, что это есть лучшее из всего возможного. А либеральное завершение истории, до которого додумались западные идеологи, — разве оно не из того же ряда фактов?! Все это нельзя рассматривать только как иллюзию сознания или идеологическую фальсификацию реальности. Действительно, современные передовые общества достигли такого научного, технического, медико-биологического уровня развития, такого материального благополучия и жизненного комфорта, которые многократно превосходят ожидания и мечты прошлого. Обычный обыватель сегодня имеет больше удобств, чем раньше их имели цари. В этом смысле нашу современную жизнь

вполне можно считать осуществленном идеалом, воплотившейся утопией. Так что парадокс Зиновьева — как достойно прожить в уже состоявшемся земном рае или, что одно и то же, как стать святым, оставаясь грешным, — вполне отражает дух времени. Что же он предлагает? Прежде чем обратиться к конкретике учения о житии, рассмотрим еще одну его особенность.

III

Главного героя повести «Иди на Голгофу» зовут Иван Лаптев. Его учение соответственно — это «лаптизм». Имена у Зиновьева (как собственные, так и символизированные типа «балбес», «претендент», «шизофреник», «болтун» и т. п.) всегда несут смысловую нагрузку, обозначают основную идею (роль, функцию, социальную позицию), которую воплощает соответствующий персонаж. В данном случае он хотел подчеркнуть национальный характер, русскость своего этического учения. К тому же Иван Лаптев, этот русский Бог, прямо говорит от имени русских и для русских.

Замкнутость учения о житии на своеобразие русского образа жизни Зиновьев познал, оказавшись на Западе. Он пишет, что создавал это учение не как замену прежних концепций такого рода и не как некую истинную систему для людей вообще, а как свод правил для себя и людей такого же социального типа, как он сам. Причем свод таких правил, которые сразу пускались в дело в качестве практической платформы собственной жизни. Вот его слова по этому поводу (из той опубликованной во Франции в 1990 г. части книги «Исповедь отщепенца», которая по-русски еще не издавалась): «Мало придумать свою систему жития, нужно иметь еще опыт жизни согласно правилам этой системы, тренировку. В Советском Союзе я такой опыт имел ежедневно в изобилии. Мои тренировки заключались в определенном поведении в советском коллективе и советском обществе в целом. Помимо упомянутых выше тренировок в моем стремлении быть гражданином моего типа нужны были еще другие условия. Важнейшие из них: 1) гарантированное положение в обществе; 2) возможность демонстрировать окружающим мои гражданские качества, быть признанным в этих качествах; 3) убеждаться в том, что я сохраняю эти качества, и в окружении моем есть люди, которые это ценят. Позиция, выражаемая формулой «я есть суверенное государство», была позицией не изоляции от людей, но позицией поведения среди людей. Более того, она предполагала даже более интенсивные, разнообразные и широкие общения, чем обычная позиция человека в обществе». На Западе это учение оказалось непригодным.

Зиновьёга — дерево, которое плодоносит на русской почве. Что же такого особенного заключено в этой почве?

Сразу надо оговориться: Зиновьев ни в коей мере не является русским почвенником и еще меньше русским националистом в этническом смысле или в смысле квасного патриотизма. Такого рода жизненные позиции он категорически отвергает. Говоря о своеобразии человеческого материала, создавшего Россию и русскую историю, он имеет в виду прежде всего и исключительно образ жизни, социологически обусловленные стереотипы поведения. Русские, по его мнению, отличаются гипертрофированностью коллективных форм быта, тем, что в их общественном строе коммунальный аспект жизни явно превалирует над деловым и формально-юридическим. Это было характерно для досоветской России, характерно для современной — постсоветской — России, однако свои развитые, классически упорядоченные формы это имело в России советской. Советский коллектив как первичная социальная клетка и организация всего общества, представляющая собой сложную, внутренне структурированную и иерархизированную систему отношений в форме коллективов — вот что более всего подходит русскому народу (как бы его ни называть — православным, советским, российским) и предоставляет наилучшие шансы для его развития. Это — не преимущество России. И не ее недостаток. Это — ее особенность.

«Общинность», «соборность», «коллективизм» — эти понятия для большинства мыслителей, стремящихся выразить духовный строй русского народа, его национальную идею, являются вдохновляющими. Ими они описывают моральную добротность народа, его высокую миссию в истории. Беспощадно трезвый Зиновьев смотрит на вещи совершенно иначе. Для него превалирование коллективного начала во всем жизнеустройстве означает разгул социальности, сущностью которого является экзистенциальный эгоизм. Это — не столько благо, которое нужно лелеять, сколько социодарвинистская стихия, от которой надо защищаться. Человек в этих условиях оказывается постоянным объектом лицемерия, обмана, зависти, подсаждивания, жалости, заботы, интриг, демагогии и т. п. И он сам, поскольку принадлежит к социальному объединению, действует по тем же законам, подобно тому, как в качестве природного существа он живет по биологическим законам. Зиновьёга — защита человека от себя, других людей, социальных групп и организаций. Это учение действительно не для обществ с атомизированной структурой, а для обществ именно российского типа, где социальность в разных формах коллективности навязывает себя индивидам, не отпускает их из своих теплых, родных объятий.

Есть еще одна особенность российского быта, которая связана с учением о житии, в частности, с заключенным в нем способом противостояния социальности (уклонения от борьбы за социальные блага). Это — пьянство. («Есть в жизни удивительное постыдство. // Весь мир сто раз, как в Октябре, перетряси, // Но все равно веселием Руси // Вовек останется безудержное пьянство».) Позволю себе одно личное воспоминание, связанное с Александром Александровичем Зиновьевым. Мы как-то вдвоем были у него дома, выпивали понемножку и разговаривали о всякой всячине. Это была чисто дружеская встреча. Речь как-то зашла о том, что американцы увлечены бегом трусцой, вообще зациклены на здоровье. «У каждого народа, — сказал Александр Александрович, — есть свой способ сходить с ума». «А как же сходят с ума русские? — спросил я. «А вот так, как мы сейчас мы с Вами», — ответил он.

Иван Лаптев, который впервые появляется на страницах повести отсыпающимся в детской песочнице после очередного пепеоля и который называет себя «инициатором и вдохновителем пьяных сборищ», «теоретиком и поэтом пьянства», — большой специалист по части пьянства. Да и сам Зиновьев, по его собственному признанию и по свидетельствам его друзей, не является в этом деле дилетантом. В данном случае опять-таки нельзя обманываться словом. Под пьянством автор понимает определенный образ жизни. Это — не медицинское явление в смысле физиологической тяги к спиртному, не моральное состояние распущенного, порочного поведения, хотя, разумеется, и то и другое сопряжено с пьянством. Это — и не момент социальной борьбы за выживание, хотя случаи его использования в целях подсаживания, карьеры не являются редкими. Пьянство как русский феномен есть род символического поведения. Вот как об этом рассуждает Иван Лаптев: «Пьянство как таковое есть только у нас. Это не алкоголизм (как у американцев, финнов, шведов) и не форма питания (как у французов и итальянцев), а наша фактически национальная религия, адекватная нашему духу и образу жизни. Конечно, наше пьянство переходит в свинство. Но и свинство есть наша национальная черта. Пьянство без свинства — это вовсе не пьянство, а выпивка в западном стиле. Или грузинство. Русский человек пьянствует именно для того, чтобы впасть в свинство — и учинить свинство. Выпивка предполагает выбор компаний, душевное состояние и прочее. Пьянство ничего не предполагает. Пьянство — это когда попало, где попало, что попало, с кем попало, о чем попало. Это — основа для всего прочего: и для компаний, и для душевной близости, и для любви, и для дружбы...» Сурово! Такие слова не

говорят о великом народе. Но, с другой стороны, нужно принадлежать к великому народу и быть соразмерным ему, чтобы уметь и смеять сказать такое.

Итак, что же символизирует пьянство? Об этом мы узнаем из гениальной поэмы «Евангелие для Ивана». В ней мы находим настолько полное описание и глубокий анализ данного феномена, что к этому вряд ли что-либо могли бы добавить психология и социология с их традиционными методами. Она нуждается в специальном, в том числе философско-эстетическом исследовании. Я ограничусь лишь общей характеристикой того, как в ней преломилось учение о житии. С этой точки зрения интерес представляют три вопроса, причудливое сочетание которых составляет внутренний идеинный пафос поэмы: 1) от чего и кого, 2) с кем, 3) ради чего люди уходят в пьянство?

Первый вопрос является основным. На него автор отвечает неспешно, с эпической полнотой и любовью к деталям. С самого начала мы узнаем основную причину «иванского учения». Она состоит в том, что «Век поэтический остался позади, // А впереди, увы, не светит веком прозы». Люди уходят в пьянство из ада и от ада. От того, что «не люди сущность бытия, а лишь эпохи», что приходилось убивать и самому гореть. От воспоминаний о лейтенанте, истекающем кровью. От сплошного обмана историков и философского лжемудрия. От болтушек из ЦЕКА. От дрянной жены. От скучной работы. От начальства, что «то гнида, то сука». От гнусных щей и вонючих котлет. От отчаяния, непереносимой тошноты жизни («Криком кричать бы, // Завыть бы истошно: // Тошно, товарищи, // Как же мне тошно!») От того, что «О душу окурки тушат». От трудовых вахт и починов. От того, что приходится сгибаться «перед всякой чиновной вошью». От женских измен. От опустившихся женщин. От невыносимых соседей. От стукачей. От властей, которые от Бога. От рож сослуживцев. От поучений свыше. От непризнанности. От клеветы. От вынужденного холуйства. От постоянной неудачливости. От несбывшихся мечтаний. От страха смерти. От «ликующего прогресса». От томления духа. От ожидания нового Степана Разина. От изломанности дороги жизни. От того, «А чтоб здоровый коллектив // Меня исправить не пытался». От занудного серого дня работы. От того, чтобы не превозносить кретинов «И обязательств не давать // Прожить пять лет в четыре года». От предательства друзей. Словом, от «мерзости бытия». Такой мерзости, перед которой не устоял бы сам Господь: «На месте моем, — я скажу ему, — Боже, // И ты бы напился до одури тоже». Такой мерзости, что, оказавшись

на небе перед Высшим Судьей, остается только просить его о том, чтобы остаться мертвым. На предложение Бога честно рассказать, что ты там натворил, следует ответ:

«Честно? Этому, Господи, я не учен.
 Лучше сам загляни в свои книжки — гроссбухи,
 Сам увидишь, что я — заурядный злодей,
 Не протягивал слабому помощи рук.
 Признаюсь, обижал безнаказно людей.
 И душою кривил, признаюсь, многократно.
 Доносил добровольно и в силу причин.
 Клятву верности брал, приходилось, обратно.
 Зад лизал с целью выйти в желаемый чин.
 Лицемерил один. Клеветал коллективно.
 Подпевал демагогии высших властей.
 Руку жал проходимцам, хоть было противно.
 Так что видишь, Всевышний, прожил я безгрешно.
 Если хочешь добром или злом наградить,
 Если просьбы уместны при этом, конечно,
 Прикажи меня впредь никогда не будить.
 Мне известно, что мертвым не больно, не стыдно.
 И не мучает совесть их, как говорят.
 Ну а главное — мертвым не слышно, не видно,
 Что на свете живые с живыми творят».

Ответ на второй вопрос связан с первым. Пьянятся со всеми, с кем придется. То есть практически с теми же, кого хотят забыть. В поэме это — бывшие летчики, полковник, историк, социолог, поэт, интеллигент, инвалид, старики, молодые, либералы, старый писатель, атеист, распутник, праведник, сосед, стукач, сослуживец, непризнанный гений, бунтарь, самоубийца, неудачник. Словом, пей «С бухгалтерами, токарями, // Пей с комс- и партсекретарями, // Пей с мусульманином, буддистом, // С завхозом пей, с попом, с артистом, // Пей в одиночку, пей в компашке, // Пей из горла, из банки, чашки, // Пей лучше много, а не мало, // Пей где, когда и с кем попало».

Состав индивидов, с которыми пьянятся, один к одному совпадает с теми, из-за которых (чтобы забыть которых) они это делают. Это понятно, ибо других не существует. Данное обстоятельство очень показательно. «Иванское учение» есть не уход из мира (из него уйти нельзя, ибо другого мира не существует), а особая позиция в нем. Оно утверждает мир в форме его отрицания, в другом его качестве. И здесь мы переходим к вопросу: «Для чего?».

Ответ прост: для того чтобы послать всех «на» и выйти «в иное, высшее пространство!» Пространство это представляет собой особое «людское братство»; кабак в поэме именуется храмом, где можно ощутить «души родство с таким, как сам, народом». Другая его особенность — в нем живут не завтрашним днем, а сегодняшним. Здесь достигается полнота переживания жизни как «здесь» и «теперь», как данного остановившегося мгновения: «Пока живой, одно усвой: // Живи сейчас, пока живой». Еще одна — быть может, самая важная — черта пьяного зазеркалья состоит в ощущении свободы, которая, правда, обнаруживается и в малоприятной предметной форме, когда собутыльники могут изрезать друг друга в кровь и тут же без всякой паузы начать обниматься («Меня ты уважаешь, я тебя спрошу, // А хочешь я влеплю тебе по харе?!»), но прежде всего, конечно, в говорении, трепе, изливании душ. «И с собутыльником на пару // Позволь трепаться до утра», — говорится в одной из молитв «Евангелия для Ивана». И неважно, что этот собеседник является, например, стукачом: «Сидящий в одиночестве был рад и палачу». Пьянство — это уход от одиночества, от самого страшного, безнадежного одиночества в массе, в «любящем» тебя коллективе. Парадокс жизни состоит в следующем. Пьянство, которое прямо и очевидным образом разрушает личность, итогом которого оказывается, что «Нету должности, денег, семьи, // Все друзья — алкаши да пропойцы», является в то же время формой утверждения человеческого достоинства, попыткой вырваться из клетки, из которой вырваться нельзя, улыбнуться в ситуации, в которой можно только выть. В поэме есть главка под названием «Национальная программа». Там дан исчерпывающий ответ на вопрос: «для чего?».

«К концу подходит наш двадцатый век.
Хотя бы вы поймите, выпивохи:
Иван есть тоже человек,
А не орудие эпохи».

IV

Этика есть взгляд на действительность сквозь призму противоположности добра и зла. С этой точки зрения учение о житии является настолько необычным, что возникает оправданное сомнение относительно того, можно ли его вообще считать этическим. Насколько мне известно, Зиновьев не высказывался развернуто по данному вопросу. Эскизно, на уровне методологического основоположения, его позиция сформулирована устами Ивана Лаптева следующим образом: «Зло за зло — вот практически

действующий принцип нашего жития. Бог уже не в силах противостоять этому ... Я не учю ни добру, ни злу. Я учю тому, как жить в таком разрезе бытия, в котором теряют смысл понятия добра и зла». Стремясь понять, как это возможно и что это значит, можно указать на три момента.

Во-первых, учение о житии Зиновьев (как и его литературный альтер эго Иван Лаптев) разработал не для того, чтобы осчастливить человечество, а для самого себя. Приведенная выше цитата была из главки «Добро и зло», а в другой расположенной рядом главке «Снова о добре и зле» точно сказано: «То, что человек делает лично для себя, не есть добро и не есть зло». Богом, если под этим понимать инстанцию, задающую поведению вектор добра, является в индивиде одно из его «Я». А у него наряду с этим есть другие «Я», десятки, сотни, а может быть и тысячи других «Я». Индивид в его сокровенной духовной сущности — не одно из его «Я», пусть даже самое высшее в нем, а их целостная совокупность, составляющая уже его индивидуальное «Я». Индивидуальное «Я» человека, как душу, противоречивую, объемную целостность, следует отличать от его абстрактных, плоских ролевых «Я».

Зиновьев говорит, что есть два понятия совершенства. В одном значении совершенный человек — идеальный человек, состоящий из одних положительных качеств. Во втором значении «абсолютно совершенный человек — это существо, которое в потенции обладает всеми мыслимыми качествами, причем не только хорошими, но и плохими. Совершенный человек в этом смысле способен приспособиться к любой ситуации, выжить в любой ситуации, жить в любых условиях». Такой совершенный человек реализуется в массе человечества. Учение о житии имеет в виду совершенство во втором значении; его предмет — как распорядиться богатством абсолютно совершенного существа (исторически сформировавшимися потенциями человечества) в индивидуальном опыте.

В свете сказанного намного ясней становится смысл зиновьевского утверждения: «Я есть суверенное государство». Государство — сложная, многоаспектная, иерархизированная конструкция; в ней есть разные формы и уровни власти (а не только законодательная), разные занятия, разные территории и т. д. Эти элементы можно квалифицировать по удельному весу, официальному статусу и иным признакам, но не по критерию добра и зла; в государстве, практикующим смертную казнь, даже палач не считается злодеем. В «Я», которое есть суверенное государство, есть все то, что практикуется в современных государствах, представляющих собой организованную жизнь миллионов людей, но

только в том виде, в каком оно («Я») само считает правильным. Это не значит, что любой индивид и на любых принципах может построить суверенное государство. Чтобы построить суверенное государство, нужно как минимум руководствоваться идеей суверенности, что задает совершенно иную шкалу ценностей и оценок, чем та, по которой строится жизнь массы и поведение индивида в массе.

Во-вторых, учение о житии предназначено не для того, чтобы плохой мир сделать хорошим или опереться в мире на хорошее, избегая плохого, а для того, чтобы уклониться от мира, оставаясь в нем со всей его грязью (негативное отношение к реальности и его неприятие является предпосылкой всякой этики — в противном случае был бы непонятен сам этический взгляд на мир). И если, предположим, уклонение от мира, в его этически зафиксированном негативном качестве, сам способ этого уклонения считать добром, а деятельное пребывание в нем — злом, то человек даже тогда, когда он достигает уровня Бога («суверенного государства»), будет таким клубком добра и зла, конец которого невозможно найти. Сама исходная диспозиция учения о житии предполагает, что добро делается через зло, и в этом смысле выводит за рамки этой противоположности, по крайней мере в ее традиционном толковании, когда одно начисто отделяется от другого, как в формуле: «“да, да”, “нет, нет”, а что сверх этого — от лукавого». Поэтому логическая противоречивость становится нормой учения: «Будь терпим — потому сопротивляйся насилию. Если видишь, что борьба бесполезна, сражайся с удвоенной силой. Иди к людям — и потому будь один... Имей все — и потому отдавай все. Смиряйся, бунтуй. Бунтуй, смиряясь. Короче говоря, на каждый принцип есть противоречащий ему, через который он и осуществляется».

В-третьих, «лаптизм, строго определяя стратегию жизни, предоставляет человеку полную свободу тактики жизни. Разумеется, в пределах, очерченных общими принципами». Определить в общем смысле, что есть добро, а что есть зло, нельзя. Нужны каждый раз конкретные решения для конкретных индивидов в конкретных ситуациях, для чего нет иного пути, как самому стать критерием добра и зла. Это не значит, что образцы и заповеди не имеют значения. Имеют, только их должно быть много, «может быть, сотни или тысячи» (в этом отношении учение Зиновьева—Лаптева ближе к Моисею, чем к Христу). Кроме того, они должны быть столь точны, чтобы «советы для конкретных случаев получались как их следствия», т. е. чтобы они заново и самостоятельно создавались самим действующим индивидом.

Учение о житии заключает в себе огромное количество (по-видимому, сотни) правил применительно к разным сферам жизни и обстоятельствам, а также анализ почти такого же количества типовых случаев. Все это вместе образует целый человеческий мир, ценный не своей логической строгостью, эстетической красотой, выраженностью некоторых моральных принципов, а тем прежде всего, что он есть, есть в качестве действенного, человечески осмыслинного мира, сотворенного вот этим человеком — Александром Зиновьевым, Иваном Лаптевым. Иван Лаптев — не Бог, который создает мир по своему подобию, а Бог, которому случилось жить в мире, не знающем никакого подобия. Он творит не мир, а самого себя.

Из всей совокупности правил «лаптизма» наибольший интерес с точки зрения его интерпретации в качестве этического учения представляют правила, объединенные рубрикой «Я и другие» (они также буквально воспроизводятся Зиновьевым в «Исповеди отщепенца» в качестве собственного кредо). Назову только некоторые из них: Держи людей на дистанции. Относись ко всем с уважением. Не привлекай к себе внимания. Свою помощь не навязывай. Не лезь к другим в душу, но и не пускай никого в свою. Не поучай. В борьбе предоставь противнику все преимущества. Не насилий других. Вини во всем себя. Эти правила, на первый взгляд, как будто бы можно обобщенно свести к моральной заповеди любви к ближнему. В действительности здесь речь совсем о другом. В многочисленных текстах Зиновьева можно встретить разные утверждения, но чего в них точно нет и в принципе не может быть, так это этической максимы любви к ближнему. Цитировавшийся выше свод правил отношения к другим начинается с правила «Сохраняй личное достоинство» и кончается правилом «Никогда не рассчитывай на то, что люди оценят твои поступки объективно... Помни: Ты есть единственный и высший «объективный» судья своего поведения, ибо оно есть твое поведение, и ты волен судить его по своему усмотрению».

Совокупность правил отношения к другим, по Зиновьеву, предназначена для того, чтобы блокировать исходящие от них опасности. Парадоксальный реализм его мысли состоит в утверждении, что своим уважительным отношением к другим мы защищаемся от них. Каждое живое существо предохраняет себя по-особому: источая определенные запахи, становясь незаметным, демонстрируя агрессивность, быстро убегая и т. д. Человек делает это с помощью сознательных, согласованных и общепризнанных норм поведения — норм, которые, собственно говоря, и создают зону их безопасного совместного существования. Идеи Зиновьева в этом вопросе похожи на

концепцию социогенеза Томаса Гоббса. Разница состоит в следующем. Гоббс полагал, что естественное для людей состояние войны всех против всех преодолевается созданием государства. С точки зрения Зиновьева, государственно организованная социальность жизни имеет неистребимую конфликтогенную природу и если отличается от естественного состояния, то только тем, что здесь борьба становится еще более жестокой и опасной. Выход состоит в том, чтобы каждому становиться своего рода суверенным государством. Какой бы необычной позиция Зиновьева в данном вопросе ни казалась, следует признать, что это один из немногих в истории философии рационально аргументированных ответов на вопрос о том, почему индивид, озабоченный единством тем, чтобы самому стать совершенным, выверить свою жизнь в некой абсолютной перспективе, должен еще думать и заботиться о других людях.

V

В заключение — несколько слов о том, как учение о житии связано с социологией самого Зиновьева и насколько оно вписывается в общий контекст развития европейской этики.

Вопрос о связи с социологией выше уже был затронут. Социальные законы (законы социальности), представляющие собой законы организаций, функционирования и развития больших масс людей (человейников), являются такими же объективными, жесткими в своей объективности, как и законы природы. Тот факт, что социальные субъекты (человеческие индивиды, рассмотренные в качестве членов и в составе социальных объединений) обладают сознанием, не противоречит объективности социальных законов. Более того, он способствует уменьшению случайности и разнообразия в проявлении законов социальности до такой степени, что социальная эволюция стала менее всего зависимой от субъективных факторов, сознательных решений и действий отдельных лиц именно тогда, когда она стала управляемой, — на современной стадии сверхобщества.

На базе законов социальности и в пространстве их действия нет места ни для человеческой свободы, ни для морали. И то и другое возникли только, во-первых, как индивидуальный способ существования, во-вторых, за пределами социальности, как уклонение от ее законов. На этих предпосылках и строится учение о житии. Подобно тому, например, как человек строит самолеты, чтобы вырваться из железных тисков законов тяготения (сравнение Зиновьева), и при этом он это делает, действуя в их же рамках, точно так же он создает идеальное общество в самом себе, чтобы вырваться

из-под гнета общества, и он может это делать, оставаясь в обществе и через его посредство. Можно сказать так: законы социальности содержат в себе возможность морали в отрицательном смысле, т. е. в том смысле, что последняя возможна только как их отрицание.

Учение о житии Зиновьева продолжает и дополняет его социологию. Без него последняя была бы беспросветной. Более того, в индивидуальном жизненном замысле Зиновьева, по его собственному признанию, сама социология была разработана для того, чтобы выработать адекватное учение о житии и найти в жизни место самому себе в качестве идеального коммуниста. Таким же является и их объективное соотношение между собой. И если верно, что учение о житии находит свою негативную обоснованность в социологии, то еще более верно, что социология Зиновьева может быть адекватно понята и разумно осмыслена только с учетом и в свете его учения о житии.

В одном из своих рассуждений Иван Лаптев говорит, что Бог есть самоучка. То же самое можно было бы сказать о Зиновьеве как авторе учения о житии. Последнее непосредственно не соотнесено ни с какими философскими этическими учениями. Автор если и учитывал их, то, видимо, только в том общем смысле, что он их все отбросил. И тем не менее учение о житии может быть рассмотрено сквозь призму той проблемно-теоретической ситуации, которая возникла в ходе развития философской этики.

Европейская этика прошла две крупные стадии, которые являются в то же время двумя ее важнейшими тенденциями. Первая связана с именем Аристотеля и сводит мораль к моральным поступкам. Человека интересует не что такое добродетель вообще, а что такое добродетель в данном конкретном случае, и не как относиться к людям вообще, а как относиться к данному конкретному индивиду, с которым приходится иметь дело сейчас и в данных обстоятельствах. Не существует общих критериев и правил, позволяющих отличить добродетельный поступок от порочного. Каждый поступок имеет свою собственную нравственную меру, и она выявляется (задается) самим действующим индивидом. В этой теории нет ответа на вопрос о том, как сделать так, чтобы совершаемый индивидом добродетельный поступок был бы таковым и для всех тех, кого он касается. Этот вопрос является существенным, ибо поступок тем отличается от намерений, что выводит индивида в мир людей, область отношения с другими. Чтобы поступок был приемлем для двух и более индивидов, он должен быть абстрагирован от каждого из них в отдельности или особенности и рассмотрен как подчиненный некоему общему признаваемому ими всеми правилу.

Поиск правил (принципов) морали стал основной линией развития этики Нового времени, что нашло свою кульминацию у Канта. Кант свел мораль к моральному закону, который обладает абсолютной необходимостью, является единственным и единственным для всех разумных существ. В случае человека он приобретает форму категорического императива. Категорический императив тождествен добром (чистой в смысле отсутствия каких-либо иных мотивов) воле и функционирует исключительно как долг, который противостоит склонностям. Он не может найти адекватного воплощения в поступке и в строгом смысле слова не нуждается в этом. Долг Канта — это долг перед человечеством, долг человечности, а не долг перед конкретными индивидами, с которыми приходится иметь дело в повседневной жизни. Кант решил проблему общеизначимости морали, но ценой того, что из нее исчезли поступки.

По Аристотелю, есть единичные моральные поступки, но нет общего морального закона. По Канту, есть всеобщий моральный закон, но нет конкретных моральных поступков. Эти позиции очевидным образом односторонни. Развитие этики после Канта было стремлением вернуть в этику поступок, но таким образом, чтобы не отказываться от идеи общеизначимости морали. Она до настоящего времени не нашла решения этой проблемы. Учение о житии дает свое совершенно неожиданное ее решение и соединяет концы, которые в истории философской этики остаются разорванными. Это решение состоит в следующем: Иван должен стать философом. Каждый человек должен сделать то, что философы хотели сделать для всего человечества: выработать этические учение как нормативную программу достойной человеческой жизни. Разница заключается в том, что философы создавали такие программы для людей вообще, в качестве абстрактных теорий, претендуя каждый раз на истину в последней инстанции. Реальные же люди (Иваны) создают их каждый раз для себя, создают не для того, чтобы знать, что есть достойная жизнь, а для того, чтобы достойно жить. Они руководствуются каждым своим жизнеучением с такой полнотой, что превращают собственную жизнь в эксперимент, своего рода испытательное поле по отношению к нему. Строящий свою жизнь таким образом человек не претендует, подобно философам, на то, что он открыл последнюю, окончательную истину. Его претензия бесконечно выше: он придает своей жизни достоинство последней, окончательной истины.

Есть еще одна коренная проблема человеческого существования, над которой билась и бьется (пока что безуспешно) этическая теория: как соединить человеческую жажду счастья и его стремле-

ние к добродетели. Предлагались различные варианты такого соединения. Одни говорили, что нужно правильно и полно наслаждаться, и это сделает жизнь добродетельной. Это — программа гедонизма. По мнению других, нужно правильно понимать добродетель и противопоставить ее в качестве внутренней стойкости различным превратностям судьбы, что автоматически сделает жизнь счастливой. Это — программа стоицизма. Третьи говорили, что нужно научиться правильно рассчитывать свою пользу, и тогда счастье каждого сольется в общую добродетель как наибольшее счастье для наибольшего числа людей. Это — программа утилитаризма. Были и другие варианты. Один из самых интересных, например, предложил и опытом своей жизни реализовал Альберт Швейцер. Он считал, что первую половину жизни человек должен жить для себя (для счастья), а вторую — для других (для добродетели). Учение о житии и в этом случае предлагает оригинальное решение вековечной проблемы: оно учит тому, как стать святым (добродетельным) без отрыва от греховного производства (счастья). С точки зрения Зиновьева, соединение добродетели и счастья, недостижимое в масштабе общества и по общей формуле, вполне возможно в масштабе личности и по индивидуальной формуле. Ведь Иван Лаптев, если рассматривать его как художественный образ, следуя созданному им же учению о житии, живет по-своему счастливой жизнью — является видной в городе фигурой, пользуется успехом как поэт, проповедник и целитель, не обделен вниманием женщин, живет в свое удовольствие, ничуть не страдая от того, что эти удовольствия по общепринятым меркам могут считаться ничтожными, как, например, просто возможность растянуться на раскладушке.

Учение о житии есть учение о том, как быть личностью. Как быть личностью не тогда, когда ты занимаешь привилегированное положение в обществе, имеешь слуг, живешь в собственном доме, тебя охраняет полиция и т. д. А тогда, когда у тебя ничего этого нет. Как быть личностью, несмотря ни на что. Как быть ею среди мерзости бытия. Достоевский показал, что если нельзя убивать старую, никому не нужную, всем вредную старуху-процентщицу, то это значит, что нельзя убивать никого. Зиновьев показал, что если можно быть личностью в условиях оргии колLECTивизма и коммунальности, то это значит, что ею может быть любой и всегда. И кто из либералов, какой Поппер, Хайек, Фридмен подняли идею личности на такую высоту, на какую ее поднял «коммунист», критик и певец коммунизма Александр Зиновьев?!